Николай Добролюбов

Николай Владимирович Станкевич

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Статья явилась ответом на выступление публициста И. И. Льховского, который в рецензии на изданную П. В. Анненковым переписку и биографию Н. В. Станкевича отрицал его общественное значение на том основании, что, занимаясь наукой и искусством ради своего удовольствия, Станкевич не боролся, не страдал и не оставил никаких материальных следов своей деятельности. Отвергая подобную «мелочную утилитарность», измеряющую ценность человеческой личности исключительно количеством «пользы», которую она принесла, Добролюбов утверждает самостоятельную значимость всякой честно прожитой жизни.

- Николай Александрович Добролюбов
  - ○
  - ○ Примечания
- notes
  - ○ Сноски
    - ■ 1
    - ■ 2
  - ○ Комментарии
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
    - ■ 8
    - ■ 9
    - ■ 10
    - ■ 11
    - ■ 12
    - ■ 13
    - ■ 14
    - ■ 15
    - ■ 16
    - ■ 17
    - ■ 18
    - ■ 19
    - ■ 20
    - ■ 21

- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

Николай Александрович Добролюбов
Николай Владимирович Станкевич

(Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1858)[1]

Еще в 1846 году, в биографии Кольцова, Белинский писал о Станкевиче: «Это был один из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из кружка близких к ним людей»[2]. Белинский сам принадлежал к числу этих близких людей, и уже одного упоминания его было бы, конечно, достаточно для того, чтобы возбудить в нас желание узнать покороче личность, внушившую ему такие строки. Теперь, благодаря биографии Станкевича, написанной г. Анненковым, и еще более переписке, изданной им же, это справедливое желание может быть удовлетворено. Биографический очерк Станкевича был еще раньше напечатан г. Анненковым в «Русском вестнике»; [3] теперь он издан (в сокращенном, впрочем, виде) в отдельной книге, вместе с перепискою Станкевича. Мы не будем здесь представлять извлечения из фактов и мнений, находящихся в книге г. Анненкова: их уже все прочли, конечно, в «Русском вестнике». Мы не хотим излагать и содержания переписки Станкевича, в которой ясно отражается благородная, открытая, любящая душа его. Нет сомнения, что большую часть писем Станкевича прочтут с удовольствием все, кому дорого развитие живых идей и чистых стремлений, происшедшее в нашей литературе в сороковых годах и вышедшее преимущественно из того кружка, средоточием которого был Станкевич. Изданные письма (большею частию к Я. М. Неверову, меньшею – к Грановскому и еще к нескольким лицам) не составляют, конечно, *всей* переписки Станкевича;[4] но уже и из них очень ясно видна степень того значения, какое имел он среди передовых тогдашних деятелей русской литературы. А это уже достаточно объясняет его права на внимание и память образованного русского общества, которое немало обязано своим развитием русской литературе, и особенно критике сороковых годов.

Чтение переписки Станкевича так симпатично действовало на нас, нам так отрадно было наблюдать проявления этого

прекрасного характера; личность писавшего представлялась нам, по этим письмам, так обаятельною, что мы считали переписку Станкевича окончательным объяснением и утверждением его прав на внимание и сочувствие образованного общества. Мы не думали, чтоб нашлись люди, которые бы остались холодными и бесстрастными пред поэтическим обаянием этого юноши и сурово потребовали бы у него еще иных, более осязательных прав на уважение и сочувствие общества. Но, к сожалению, нашлись такие люди и показали нам возможность строгого допроса, обращенного к памяти человека, о котором с любовью и уважением вспоминают все, кто только знал его. Мы слышали суждение о книге, изданной г. Анненковым, выраженное в таком тоне: «Прочитавши ее до конца, надобно опять воротиться к первой странице и спросить, вместе с биографом Станкевича: чем же имя этого юноши заслужило право на внимание общества и на снисходительное любопытство его?» Выражавшие такое суждение не видели в Станкевиче ничего, кроме того, что он был добрый человек, получивший хорошее воспитание и имевший знакомство с хорошими людьми, которым умел нравиться: что же за невидаль подобная личность? Мало ли кто имел хорошие знакомства!

Значит, все-таки неясно еще значение Станкевича, все-таки есть поводы не признавать его права… На это отрицание нельзя смотреть как на следствие каких-нибудь личных интересов и страстей, подобное тому, что мы видели недавно в унижении заслуг Грановского{5}. Там говорили воспоминания друзей разного рода; многое сказалось в жару спора, многое возбуждено было тем, что противникам Грановского показались слишком неумеренными восторги его поклонников. Здесь ничего подобного нет и не было. О Станкевиче пишут и рассуждают люди, лично его не знавшие; споров никаких не было, даже и восторгов почти не было. Если бы кто-нибудь стал превозносить Станкевича выше меры, стал бы уверять, что он был главою кружка, что от него заимствовано все, что было хорошего у его друзей; если бы кто-нибудь стал приписывать великое, мировое значение его беседам с друзьями и возводить его в гении и благодетели человечества; тогда, конечно, было бы отчего в отчаянье прийти и даже, пожалуй, ожесточиться. Но ведь этого никто не делает. Говорят просто: Станкевич был человек очень замечательный по своему светлому уму, живой восприимчивости и симпатичности своей натуры. Его стремления были возвышенны и идеальны, он искал все обобщить, во всем дойти до идеи, до начала знания. Вся его молодая жизнь прошла в мире науки и искусства, которым он восторженно предавался в надежде *приготовить* себя к полезной деятельности. Около него собирался

круг друзей, из которых многие сделались потом известными своей деятельностью{6}. Все они вспоминали и вспоминают о нем с какой-то благоговейной любовью; лучшие из них говорят открыто, что многим ему обязаны и в умственном и в нравственном отношении. Личность такого человека не должна быть забыта, хотя бы и для того, чтобы определить, чем мог он действовать так обаятельно на своих друзей? Интерес его биографии возрастает, когда мы узнаем, что это обаяние не заключалось просто в мягкости характера и добродушии, а имело гораздо лучшие основания. Прочитав его переписку, узнав его жизнь, мы убеждаемся, что он имел действительно благотворное значение в кругу своих друзей и что он замечателен сам по себе, а не потому только, чтобы на него упал отблеск славы кого-нибудь из них.

Что тут преувеличенного? Что из этого может отнять у Станкевича тот, кто не имеет предъявить фактов, противоречащих заключениям, сейчас переданным нами? Кажется – ничего. Но есть люди, отличающиеся весьма мрачным взглядом на жизнь и вместе с тем какой-то философской выспренностью. У них своя точка зрения на все предметы, и они становят вопрос таким образом: {7}

«Станкевич, – говорят они, – все занимался наукой и искусством: где же его ученые и литературные труды? Сделал ли он хоть одно открытие в науке, произвел ли он; хоть одно художественное chef d'oeuvre? Даже просто, сделал ли он хоть что-нибудь для науки? Нет? Так за что же уважать его? Он занимался наукой и искусством потому, что находил в них наслаждение, и это служит для него уже достаточной наградой. Станкевич любил и изучал философию: где же результаты его изучения? Трудился ли он для передачи другим своих взглядов, образовал ли какую-нибудь школу философии? Нет? Так что нам за дело до его философских идей! Пусть их остаются его субъективной принадлежностью и не разоблачаются перед обществом: ведь он изучал философию для себя, а не для общества. Если же что и передал он другим, то бессознательно, а бессознательные действия не подлежат никакому нравственному вменению. Станкевич был добрый и симпатичный человек: как же это выражалось в его жизни? Спешил ли он отыскивать несчастных и помогать им, подавал ли нищим, делился ли последним с неимущими, как это делал, например, И. И. Мартынов, переводчик греческих классиков? Об этом мы не имеем сведений; в чем же выражалась доброта и высокая нравственность Станкевича? Неужели в том только, что он умел привязать к себе своих друзей? Это еще небольшая заслуга.

Станкевич имел благородные и твердые убеждения; как же они выразились в жизни? Страдал ли он из-за них, жертвовал ли им своим счастием, подвергался ли клеветам, брани, огорчениям, лишениям в борьбе за свои убеждения? Нет? Так что же может заставить нас уважать его убеждения и его самого? Мы видим из всего, что Станкевич не был тружеником и мучеником идеи, а просто был эпикурейцем, хотя и не в дурном значении этого слова. У него не было того качества, которое необходимо для общественного деятеля – *самоотвержения.* Что он ни делал, он во всем был дилетантом и ни в чем не являлся специалистом; во всем искал прежде всего удовлетворения собственной потребности, собственного стремления и не думал обрекать себя на жертву для других. Такой человек не имеет прав на общественное значение, какое имеет, например, И. И. Мартынов. Тот менее имеет известности, менее, может быть, имел дарований, чем Станкевич; но его права на благодарность потомства несомненны, именно потому, что он всегда жертвовал собою для других. Он учился – не как дилетант, не потому, что его привлекала та или другая книжка, та или другая идейка, а потому всего более, что хотел оправдать ожидания и надежды своего начальника и благодетеля. Он занимался литературой, но не для собственного удовольствия, не по какому-нибудь безотчетному влечению сердца, а с сознательным желанием принести пользу согражданам, и главное – потому, что, – по собственному его выражению, – литература была близка ему «как чиновнику министерства просвещения»[{8}]. Следовательно – занятия литературные были для него не удовольствием, не забавой, а трудом, пожертвованием, службою. Кроме того, он был и на действительной службе, а в частной жизни полезен был тем, что помогал бедным. Вот какие права надобно иметь на общественное значение, а не такие, какие предъявляются за Станкевичем. Станкевич был прекрасный человек, но прекрасный для себя, а не для других, не для общества. Он никогда не принуждал себя, не занимался тем, к чему не чувствовал сердечного влечения, не налагал на себя тяжелых нравственных вериг, не жертвовал своей личностью для пользы общей. Он был эгоист, хотя и в возвышенном смысле. Все, совершенное им, было им совершено прежде всего *для себя,* а если потом и выходила польза для других, то совершенно без всяких расчетов с его стороны. Люди, развившиеся под его влиянием, развились бы и без него: если бы они были неспособны к развитию сами по себе, то и Станкевич ничего бы не мог из них сделать: доказательство – то, что он не сделал великого поэта из Красова, точно так же, как не мог всех своих друзей поставить на ту степень умственного

развития, до которой дошел Белинский. Нет – и образование и идеи германской философии развились в нашем обществе по естественному ходу образования, и развились бы независимо от Станкевича, если бы его никогда и не было на свете».

Такой взгляд не составляет исключительной принадлежности нескольких лиц; он очень свойствен многим в нашем образованном обществе. Известно, что вообще о правах личности существуют два противоположные взгляда, оба ошибочные в своих крайностях. Один, происходя от неуважения к личности вообще, от непонимания прав каждого человека, приводит к неумеренному, безрассудному поклонению нескольким исключительным личностям. Так, на первой степени развития невежественного народа, человек, пораженный необычайной силой или ловкостью какого-нибудь дикого героя, забывает и свою личность и личность своих ближних и, вместе со всеми, признает свое полное ничтожество пред удивительным богатырем и его беспредельную власть над собою. Так и в обществе, еще мало сведущем и образованном, замечается особенная наклонность к преклонению перед всем, что хоть немножко выходит из ряда обыкновенных явлений. Чуть явится неглупый человек, о нем кричат, что он гений; чуть выйдет недурное стихотворение, немедленно провозглашают, что им могла бы гордиться всякая литература; чуть обнаружит человек кое-какие знания, к нему смело обращаются с просьбой о разрешении всяческих вопросов, даже неразрешимых. И перед личностью, возбудившей общее благоговение, все падает во прах, все говорит: «Бей меня, топчи, плюй на меня, – а я с радостью все от тебя снесу, потому что ты гений, потому что ты герой» – или что-нибудь другое в этом роде. Такие порывы смешны, конечно, и даже возмущают душу, потому что в них выражается неуважение каждой отдельной личности к самой себе. Охота к восхвалению и преклонению пред так называемыми *избранниками* судьбы, гениальными натурами – заслуживает, конечно, обличения и противодействия. Так и было в нашей литературе, когда после необдуманного восхищения фантазиями Кукольника, Тимофеева, после благоговейного трепета пред авторитетами Хераскова, Державина и пр. явилась строгая критика, решившаяся основательно определить меру их достоинства{9}. Начала, принятые этой критикой, утвердились и доселе действуют при оценке литературных произведений. Но многие из образованных людей пустились теперь в другую крайность: в уничтожение вообще личностей. Важно общее течение дел, говорят они, важно развитие народа и человечества, а не развитие отдельных личностей. Если личность занималась какой-нибудь

специальностью и сделала открытия, то об этих открытиях можно еще говорить, потому что они способствуют общему ходу развития человечества. Но личность сама по себе не имеет никакого значения, и мы не должны обращать на нее внимания. Такое рассуждение показывает, по нашему мнению, только неуменье обращаться с общими философскими положениями, когда дело коснется применения их к частным случаям. Конечно, ход развития человечества не изменяется от личностей. В истории прогресса целого человечества не имеют особенного значения не только Станкевичи, но и Белинские, и не только Белинские, но и Байроны и Гете: не будь их – то, что сделано ими, сделали бы другие. Не потому известное направление является в известную эпоху, что такой-то гений принес его откуда-то с другой планеты; а потому гений выражает известное направление, что элементы его уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других. Следовательно, в сфере отвлеченной мысли, можно сколько угодно уничтожать личности, имея дело только с идеями. Но не столь; справедливо будет в частных случаях, в применениях к действительной жизни, говорить, что такая-то и такая-то личность не заслуживает уважения, потому что через двадцать пять лет о ней останется одно воспоминание, а через двести пятьдесят – и того не будет. Подобное смешение общих теоретических положений с точкой зрения действительности может повести к весьма забавным практическим последствиям. Я, например, знаю, что движение народонаселения в человечестве, и даже в России, и даже в Н – ской губернии вовсе не изменилось от того, что в городе Н. есть прекрасный доктор, вылечивший многих трудно больных. Но между тем я сам живу в городе Н. – беспрестанно слышу благодарные воспоминания о нем от людей, им вылеченных, и нахожу, что его уважают даже люди, никогда не бывшие больными. Неужели я поступлю справедливо и благоразумно, если начну всем этим людям доказывать, что доктор не заслуживает ни благодарности, ни уважения, потому что человечество от него не выиграло, вылечил он немногих, да и те, которых вылечил, все-таки умрут же, и через пятьдесят – шестьдесят лет ничего не останется от его деятельности? Кажется, в этом случае я был бы столько же несправедлив, как и в том, если бы я стал утверждать, что вопрос об увеличении народонаселения на всем земном шаре решительно зависит от деятельности доктора, живущего в городе Н.

Но на Станкевича, кроме его незначительности в истории человечества, взводят еще другое обвинение, которое еще более характеристично для нашего образованного общества и которое

мы поэтому намерены рассмотреть подробнее. Говорят, что Станкевич не был тружеником, специалистом, что он не имел самоотвержения и потому не имеет прав на значение общественное. Недавно мы слышали, как многие голоса повторяли то же самое по поводу Грановского, доказывая, что он был не ученый, а артист. Теперь раздаются те же возгласы против Станкевича. Отчего это? Причины этого, кажется, нельзя искать в одних личных пристрастиях; должно быть какое-нибудь основание более глубокое. Основание это должно заключаться в самом взгляде на жизнь, который как-то составился в нашем образованном обществе. Не так давно один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга{10}. В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно – уважение к требованиям нравственного долга. Но, с другой стороны, взгляд этот крайне печален, потому что потребности человеческой природы он прямо признает противными требованиям долга; и, следовательно, принимающие такой взгляд признаются в своей крайней испорченности и нравственной негодности. Это, кажется, ясно; и на основании этого взгляда нетрудно решить вопрос о нравственном достоинстве Станкевича в двух словах: если жизнь должна быть рядом лишений и страданий в силу велений долга, так это ведь потому, что наши собственные стремления не сходятся с требованиями долга. Следовательно, не переносит таких лишений и страданий – или тот, кто совсем не хочет знать велений долга и предается своим дурным, безнравственным наклонностям; или тот, у кого собственные стремления не отдаляются от нравственных требований. Теперь спрашивается: к которому из этих двух разрядов отнести Станкевича? Никто не скажет, чтоб он был дурным человеком; следовательно, отсутствие страданий, внутренней борьбы и всяких душевных мук происходило в нем просто от гармонии его существа с требованиями чистой нравственности. Над ним не имели силы грязные побуждения, мелочные расчеты, двоедушные отношения; оттого во всем существе его, во всей его жизни замечается ясность и безмятежность, без раздвоения с самим собой, без насилования естественных стремлений.

Нас пленяет в Станкевиче именно это постоянное согласие с самим собою, это спокойствие и простота всех его действий. По всей вероятности, эти качества весьма сильно привлекали к нему и друзей его. Из переписки Станкевича мы видим, что только в

самых необходимых случаях, для соблюдения светского приличия, он принуждал себя к скрытности и даже невинной лжи. С друзьями и этого, конечно, никогда не было. Станкевич занимался тем, чем ему хотелось, и говорил о своих занятиях с увлечением. Ни в поступках, ни в мыслях своих он не видел ничего предосудительного и потому охотно передавал своим друзьям все случаи своей жизни, все свои мечты и планы. Все его письма дышат полной, беззаветной откровенностью. А известно, как сильно действует простая, дружеская откровенность на молодое, благородное сердце. Друзья Станкевича могли быть уверены, что он не станет им льстить, не скроет своего мнения, не побоится дать прямой, хотя бы и неприятный совет. У него не было этой малодушной совестливости, которая так часто заставляет нас *щадить* людей, к нам близких, из опасения огорчить их. Боязнь эта происходит у нас, конечно, от недостатка доверия к людям, даже близким к нам, и от желания удержать их расположение. А между тем мы все-таки выразим свое мнение, свое неудовольствие – каким-нибудь косвенным намеком, скажем его другим, – оно как-нибудь дойдет до нашего друга, и прежнее доверие между нами неизбежно рушится. У Станкевича не было подобной недоверчивости; он очень просто и спокойно говорит своим друзьям, одному: «Зачем ты свои силы тратишь на пустяки»; другому: «Что ты не учишься по-немецки, это тебе необходимо» – третьему: «Зачем ты расхваливаешь глупую книгу?» – четвертому: «Мне жаль, что болезнь тебя расслабила и что ты теперь ничего не сделаешь для людей». Подобные замечания кажутся очень легкими и естественными в дружеских отношениях; но, право, не часто встречаются друзья, которые могли бы даже такие вещи говорить прямо и просто. А между тем как много неодолимого обаяния заключается в этой ясной искренности, основанной на взаимном доверии и уважении. Если она является в человеке вследствие суровости характера, закаленной в борьбе и опыте жизни, то она принимает, по этому самому, некоторый вид грубости и брюзгливости, не всегда нравящейся, особенно самолюбивым людям. Но даже и эта стоическая, холодная искренность имеет какую-то особенную силу и прелесть и сообщает большое влияние на окружающих тому, кто ею обладает. Тем сильнее было, конечно, обаяние личности Станкевича, соединявшего с простотою и искренностью необыкновенную мягкость характера, силу чувства и способность увлекаться всем прекрасным.

Впрочем, не подумайте, что мы хотим выставлять Станкевича идеальным совершенством. Совсем нет; мы вовсе не хотим утверждать, что он стал в своей жизни выше всех сомнений и

противоречий, что внутренняя гармония его существа никогда и ничем не нарушалась. И у него были минуты тяжелых дум, горького недовольства собою, вследствие неудовлетворенных стремлений и неуменья слиться душою с некоторыми требованиями долга. Так, будучи еще двадцати одного года, он писал: «Я не могу сказать, чтоб я действовал против долга, но, кажется, я слишком много давал воли эгоизму и от этого был всегда недоволен собою. *Неискренность* – вот что еще мучило меня; das Schein[1] у меня часто противоположно dem Sein[2] (особенно в обществе), хотя и не из дурных видов; а это дает дурное направление и рождает опять недовольство самим собою» (стр. 89). Кто хочет видеть во всем мрачную сторону, тот может найти в признании Станкевича подтверждение той мысли, что он был эгоист без твердого характера. Но мы, напротив, видим в этих словах, как высоки были требования Станкевича от самого себя, как тяжелы были для него даже малейшие уклонения от сознанного им долга. Он недоволен собой даже за то, что в обществе не всегда может казаться тем, что он есть; он упрекает себя в эгоизме; а между тем видно по всему, что Станкевич менее всего мог быть лицемером и грубым эгоистом. Его доброе сердце не понимало себялюбивого своекорыстия, не умело быть счастливым без других. В одном письме к Неверову он говорит, что внутреннее блаженство заключается в самоотвержении. Следовательно, он понимал самоотвержение как удовлетворение потребности сердца, а не как формальное исполнение какого-то внешнего, сурового предписания. Вообще нам кажется, что взгляд на жизнь как на тяжелый, исполненный горестей, насильственный подвиг – взгляд этот весьма высоко ценит формальную, внешнюю сторону дела. У нас очень часто превозносят добродетельного человека тем восторженнее, чем более он принуждает себя к добродетели. Но, по нашему мнению, – холодные последователи добродетели, исполняющие предписания долга, только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь к добру, – такие люди не совсем достойны пламенных восхвалений. Эти люди жалки сами по себе. Их чувства постоянно представляют им счастие не в исполнении долга, а в нарушении его; но они жертвуют своим благом, как они его понимают, отвлеченному принципу, который принимают без внутреннего сердечного участия. Поэтому они всегда несчастны от своей добродетели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчивают тем, что ожесточаются против всего на свете. В нравственном отношении они стоят на очень низкой степени: они не в состоянии возвыситься до того, чтобы ощутить в себе самих требования долга и предаться им всем существом своим; они

должны непременно иметь на себе какую-нибудь узду, чтобы обуздывать себя. Неужели же их, только за то, что они трудятся над собою, можно поставить выше людей, которым этот труд не нужен? Неужели нравственное достоинство человека, чувствующего сильное поползновение красть, но пересиливающего себя потому, что кража запрещена законом, – выше нравственности того, у кого не рождается даже и мысли о присвоении чужого, уже не вследствие запрещения закона, а просто по внутреннему отвращению от кражи? Кажется, не того можно назвать человеком истинно нравственным, кто только терпит над собою веления долга как какое-то тяжелое иго, как «нравственные вериги», а именно того, кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития, так, чтобы они не только сделались инстинктивно-необходимыми, но и доставляли внутреннее наслаждение. К такому состоянию приближался или стремился Станкевич в большей части своих поступков, и за это он достоин нашего уважения, а не упреков.

Скажут, что в подобном направлении выражается очень сильно собственный эгоизм человека и этому эгоизму как будто подчиняются все другие, высшие чувствования. Но мы спросим: кто же когда-нибудь мог освободиться от действия эгоизма и какое наше действие не имеет эгоизма своим главным источником? Мы все ищем себе лучшего, стараемся удовлетворить своим желаниям и потребностям, стараемся добиться счастия. Разница только в том, кто как понимает это счастье. Есть, конечно, грубые эгоисты, которых взгляд чрезвычайно узок и которые понимают свое счастье в грубых наслаждениях чувственности, в уничижении пред собою других и т. п. Но ведь есть эгоизм другого рода. Отец, радующийся успехам своих детей, – тоже эгоист; гражданин, принимающий близко к сердцу благо своих соотечественников, – тоже эгоист: ведь все-таки *он,* именно *он* сам чувствует удовольствие при этом, ведь он не отрекся от себя, радуясь радости других. Даже если человек жертвует чем-нибудь своим для других, и тогда эгоизм не оставляет его. Он отдает бедняку деньги, приготовленные на прихоть: это значит, что он развился до того, что помощь бедняку доставляет ему больше удовольствия, нежели исполнение прихотей. Но если он делает это не по влечению сердца, а потому только, что следует предписанию долга? В этом случае эгоизм скрывается глубже, потому что тут уже действие – не свободное, а принужденное; но и здесь все-таки есть эгоизм. Почему-нибудь человек предпочитает же предписание долга своему собственному

влечению. Если в нем нет любви, есть страх. Он опасается, что нарушение долга повлечет за собою наказание или какие-нибудь другие неприятные последствия; за исполнение же он надеется награды, доброй славы и т. п. При внимательном рассмотрении и окажется, что побуждением действий формально добродетельного человека служил эгоизм очень мелкий, называемый проще тщеславием, малодушием и т. п. Право, хвалить за это нечего.

В жизни Станкевича есть, впрочем, одна сторона, подающая мрачно-практическим людям сильное оружие против него и подобных ему личностей. «Он не знал упорного труда, не был в борьбе с препятствиями и ничего не сделал». Вот что говорят о нем и из этого выводят, что он по слабости характера и эпикурейским наклонностям своим и не мог ничего сделать. Отвечать на это довольно мудрено, так как вообще мудрено говорить о том, что бы было, *кабы* не то было, что было. Но все-таки мы склоняемся скорее к тому убеждению, что Станкевич способен был совершить много хорошего: вспомним, что он умер всего двадцати семи лет. Приписывать ему слабость характера нет никаких оснований. Он не был ветрен, занятия его искусствами, историей, потом философией и историей шли ровно и последовательно; в мнениях своих он постоянно был независим, как видно из отношений его к друзьям. Правда, что он не высказывался во внешней деятельности так обильно, как некоторые другие; но у него это было не вследствие беспечности или бессилия. Он много раз в своих письмах говорит о том, что к плодотворной деятельности надобно хорошо приготовиться, и затем высказывает свои планы. В одном письме он высказывает как бы программу своей деятельности. «Надобно или *делать* добро, – говорит он, – или *приготовлять себя* к деланию добра, совершенствовать себя в нравственном отношении, и потом, чтобы добрые намерения не остались без плода, совершенствовать себя в умственном отношении»{11}. И эти слова не были пустой фразой: Станкевич исполнял на деле свои предположения, наблюдал за своим нравственным совершенствованием и учился. В этом периоде деятельности и заключалась его жизнь, слишком рано прекратившаяся. Борьбы за свои идеи и тяжелых столкновений с невежеством и неблагородством он не испытал; но стоит ли жалеть об этом и может ли это уменьшить степень нашего уважения к личности? Может ли это уничтожить значение того нравственного развития, какое выражается, например, в одном письме Станкевича к Грановскому, где он говорит, между прочим: «Более простора уму, более любви сердцу – и все эти сомнения: как мне быть? что

мне делать? что из меня выйдет? – пойдут к черту. В самом деле, чтоб истина не пугала, надобно быть чище душою. Скажи человеку, закоренелому в эгоизме: «Ты – ничто! – вот до какой мысли достигнешь ты путем науки: счастие, достойное человека, может быть одно – самозабвение для других; – награда за это одна – наслаждение этим самозабвением», – и он опечалится, хотя бы в самом деле от юности своей соблюл все законы чести и справедливости. А кто бескорыстно ищет истины, тот уже очищает душу и приготовляет ее к принятию божества»{12}. Не правда ли, что в этих словах очень ясно выражается та идея высшего эгоизма и то стремление слить свои влечения с требованиями добра и правды, о котором говорили мы выше? Выражение одних этих стремлений в жизни человека дает уже ему право на общее уважение, несмотря на то, терпел ли он страдания внешние и выходил ли на борьбу со злом.

Да и зачем непременно мерять достоинство человека количеством препятствий, встречаемых им? Зачем возводить к идеалу то, что есть просто следствие неправильности общественных отношений? Разумеется, человек, который попал в игорный дом и не играет, а даже других уговаривает перестать, заслуживает великого уважения. Но зачем же бранить того, кто вовсе не был в игорном доме? Желать всем порядочным людям горя и страданий, по нашему мнению, совершенно излишне: они и без того слишком часто подвергаются несчастиям всякого рода. Разумеется, фальшивое положение в обществе, зрелище злоупотреблений, невежества и порока – тяжело действует на всякую благородную натуру и вызывает ее на борьбу со злом. Ничего не может быть почтеннее такой борьбы, и мы с благоговением смотрим на страдальцев, вышедших из нее чистыми. Но вместе с тем мы жалеем этих страдальцев и никогда не решимся бросить им холодное, фаталистическое: «Так должно! таково назначение великих и благородных людей!» Никогда не захотим мы обвинить человека за то только, что он не посвящает себя враждебным действиям против зла, а просто удаляется от него. Мы обвиним за равнодушие к низостям и пороку только того, у кого это равнодушие проистекает из трусости, корысти и т. п., кто входит в близкие соотношения с пороком и не восстает на него, а потворствует или даже сам подчиняется ему, хотя наружно. Мы будем презирать того, кто бережет себя от борьбы, в надежде поживиться чем-нибудь от тех отношений, к которым чувствует внутреннее отвращение, как к несправедливым и преступным. Но если человек просто удаляется от зла, не видя возможности уничтожить его или не находя в себе самом достаточно средств для этого, мы никогда не осмелимся порицать

его и даже не откажем ему в нашем уважении, если он заслуживает его другими сторонами своей жизни.

Что Станкевич был менее полезен для общества, чем, например, Белинский, – об этом никто, конечно, спорить не будет. В этом сознавался сам Станкевич, говоря о различии своей натуры от натуры Белинского. Он сам не находил в себе таких сил для деятельной и упорной борьбы, какими обладал знаменитый критик наш. В одном письме грустно говорит он о том, что Белинскому нужно *примирение* с счастием жизни, а ему, напротив *раздражение,* препятствия, потому что он по природе своей слишком мягок и идеален. Поэтому он даже сомневается, ехать ли ему к Бакуниным, все семейство которых внушало ему чувство самого чистого благоговейного уважения и любви{13}. Вот несколько строк из этого письма.

> Я получил письмо от М. Бакунина. Белинский отдыхает у них от своей скучной, одинокой жизни. Я уверен, что эта поездка будет иметь на него благодетельное влияние. Полный благородных чувств, с здравым, свободным умом, добросовестный, он нуждается в одном только: на опыте, не по одним понятиям, увидеть *жизнь* в благороднейшем ее смысле; узнать нравственное счастие, возможность гармонии внутреннего мира с внешним, гармонии, которая для него казалась недоступною до сих пор, но которой он теперь верит. Семейство Бакуниных – идеал семейства. Можешь себе представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божией. Нам надобно туда ездить исправляться… Но я – я боюсь испортиться. Михаил зовет меня, с своим обыкновенным прямодушием, добротою; не знаю, поеду ли? – Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белинского: я слишком верю в семейное счастье, а иногда с сердечной болью думаю, что это одно возможное. Мне, надобно больше твердости, больше жестокости (стр. 189).

Как натура по преимуществу созерцательная, Станкевич не мог броситься в практическую деятельность а произвести какой-нибудь переворот в положении общества. Признавая это и зная, что он сам в этом признавался, мы уже не имеем никакого права приставать к нему с назойливым допросом: «Отчего ты не оставил никаких *положительных,* вещественных, памятников своего существования; отчего ты не вступал в борьбу, отчего ты не громил пороков, не терпел страданий от своих врагов» и пр.?

Подобный допрос имел бы еще смысл, если бы борьба, страдания и т. п. были чем-нибудь обязательным, необходимым для сохранения чести и благородства человека. Но ведь, как мы уже заметили, борьба эта есть ненормальное явление, происходящее от фальшивых отношений, среди которых живет общество. Указывают на пример почти всех великих людей, которые являются нам в истории тружениками и страдальцами. Но если всмотреться пристальнее в жизнь каждого из этих страдальцев, то весьма немного найдется таких фанатиков, которые бы сами отыскивали страдания, бросаясь в борьбу только для удовольствия борьбы. Большею частию, почти всегда, борьба эта является следствием обстоятельств, совершенно независимо и даже иногда против воли того, на кого должны обрушиться все тяжелые, последствия борьбы. Пора нам убедиться в том, что искать страданий и лишений – дело неестественное для человека и поэтому не может быть идеальным, верховным назначением человечества. Во что бы человек ни играл, он играет только до тех пор, пока еще надеется на выигрыш; а надежда на выигрыш – это ведь и есть желание лучшего, стремление к удовлетворению своих потребностей, своего эгоизма в том виде, в каком он у каждого образовался, смотря по степени его умственного и нравственного развития. Романтические фразы об отречении от себя, о труде для самого труда или «для такой цели, которая с нашей личностью *ничего общего* на имеет», – к лицу были средневековому рыцарю печального образа; но они очень забавны в устах образованного человека нашего времени. Станкевич очень хорошо понимал всю нелепость насильственной, натянутой добродетели, этого внутреннего лицемерия пред самим собою. В нем было слишком много истинной честности и прямодушия, чтоб он мог поддаться подобному лицемерию. Он твердо сознавал, что человек не иначе может удовлетвориться, как полным согласием с самим собою, и что искать этого удовлетворения и согласия всякий не только может, но и должен. Если всякий предмет в природе имеет право существовать прежде всего для себя, то неужели человек должен быть каким-то уродом в создании, изгнанником из общей гармонии? Напротив, он выше других предметов, и потому восприимчивость к благу жизни в нем развита еще больше: низшие предметы природы живут только в себе, наслаждаются собою, – человек может жить в других, наслаждаться чужою радостью, чужим счастьем. Если кто не чувствует в себе этой способности, значит, он еще мало развил в себе истинно человеческие элементы, значит, животные потребности слишком сильно преобладают в нем. «Что мне за утешение приобрести сокровища, пить, есть, – говорит Станкевич

в одном письме, – эти животные наслаждения ниже меня: а какое же наслаждение остается еще, кроме любви, жизни в других? Разум мой сознает свою любящую природу в этой мысли, – и то, что мы называем чувством, есть полное одобрительное действие нашего разумения на весь организм». Вот в чем заключался эпикуреизм Станкевича. Ясно, что при обстоятельствах, менее благоприятных для спокойного саморазвития и самосовершенствования, при существовании непосредственных враждебных столкновений с миром Станкевич не побоялся бы отстаивать свои убеждения и действовать против злых в пользу добрых: в этом он умел находить, как мы видим, *собственное* наслаждение. Но обстоятельства расположились иначе: Станкевича не захватил круговорот борьбы здравых идей с шумно восставшими против них предрассудками, и, право, не нужно жалеть об этом. Трудна эта борьба, и немногие выходят из нее победителями. Еще ничего, если человек сокрушится физически: тогда все-таки дело его остается правым, чистым и сильным. Но чаще бывают нравственные падения, вредящие успеху самого дела. Немного найдется таких нравственно чистых личностей, как Белинский, который из своей продолжительной, упорной борьбы с невежеством и злом вышел сокрушенный физически, но нравственно ясный и светлый, без всякого пятна и укоризны. Были в то же время и другие люди, тоже имевшие благородные убеждения, тоже горячо кинувшиеся в борьбу; но имена их не сохранятся в ряду имен чистых и безукоризненных, хотя, может быть, они были даже в этом самом кружке Станкевича. Может быть, они в свое время приносили даже в пользу, следовательно, имели общественное значение; но, по нашему мнению, определять нравственное достоинство лица и, следовательно, права его на общественное уважение по одному только количеству пользы, принесенной им, несправедливо. Это точно так же односторонне, как и суждение о человеке по одним его намерениям и убеждениям: одно слишком субъективно, другое совершенно объективно. Не нужно забывать, что польза от человеческих действий не всегда происходит именно там, где на нее рассчитывают, и что не всегда люди рассчитывают на общую пользу, когда обработывают то или другое полезное дельце. Иначе мы должны были бы вознести на верх общественного уважения те безобразные гаденькие личности, которые в простонародье заклеймены названием переметной сумы, а в лучшем обществе именуются «дипломатами». Они бывают весьма полезны, когда видят, что по обстоятельствам им следует быть полезными. Когда они убедились, что можно, выехать на бескорыстии, – они преследуют взятки; видя, что просвещение

пошло в ход, они кричат о святости наук, о любви к знанию; догадавшись, что идеи гуманности и правды одолевают старые начала угнетения и лжи, они являются везде защитниками слабых, поборниками справедливости и т. п. Но переменись завтра обстоятельства – они первые восстанут против того, что еще недавно защищали. Польза, сделанная ими, остается, но нравственное достоинство лица едва ли от того возвышается, и едва ли эти люди прибретают право на общественное уважение.

Напротив, человек высоко честный и нравственный в своей жизни вполне достоин уважения общества именно за свою честность и нравственность. Пусть его жизнь не озарилась блеском какого-нибудь необыкновенного деяния на пользу общую – все-таки его нравственное значение не потеряно. Даже натура чисто созерцательная, не проявившаяся в энергической деятельности общественной, но нашедшая в себе столько сил, чтобы выработать убеждения для собственной жизни и жить не в разладе с этими убеждениями, – даже такая натура не остается без благотворного влияния на общество именно своей личностью. Мысль и чувство и сами по себе не лишены, конечно, высокого реального значения; поэтому простая забота о развитии в себе чувства и мысли есть уже деятельность законная и небесполезная. Но польза ее увеличивается оттого, что вид человека, высоко стоящего в нравственном и умственном отношении, обыкновенно действует благотворно на окружающих, возвышает и одушевляет их. Есть, конечно, и всегда бывали люди с крайне утилитарными взглядами, Петры Ивановичи Адуевы средней руки, черствые и сухие в своей quasi-философской практичности, – люди, которых не прошибешь указанием на нравственную красоту и высокую степень умственного развития. Такие люди говорят: «Э, помилуйте! все это эгоизм и дилетантизм. Ну, скажите, какая польза от всех этих совершенств? По-моему, – увлекается ли человек философскими вопросами, восхищается ли лучшими произведениями искусства, или наслаждается пустыми романами, трактирным органом и публичными гуляньями, – плоды такого наслаждения для общества будут одинаковы». К счастию, немного таких людей, способных оставаться бесчувственными при виде умственного и нравственного достоинства в человеке. Большая часть людей не лишилась еще прекрасного качества чувствовать благотворное влияние всякой приближающейся к ним благородной и здраво развившейся личности.

Того, что нами сказано, достаточно уже было бы для объяснения прав Станкевича на общественное внимание и уважение. Но в его переписке и биографии находятся факты, указывающие *положительные* его заслуги для общества,

состоящие именно в том влиянии, какое имел он на людей, сделавшихся весьма известными в русской литературе. Известно, чем обязан Станкевичу Кольцов, встретивший в нем первого образованного, горячего ценителя и постоянную поддержку{14} и так живо выразивший печаль об его утрате в прекрасном стихотворении «Поминки», в котором называет Станкевича «лучшим» в кружке друзей. Известно также, как много поддерживал Станкевич Грановского в его трудах, в его сомнениях. Об этом предмете нечего говорить более, как только привести следующие слова из письма Грановского, писанного тотчас после смерти Станкевича: «Никому на свете не был я так много обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно. Этого, может быть, кроме меня, никто не знает»{15}. Такое признание *Грановского* имеет, конечно, большое значение при определении общественных заслуг Станкевича. Правда, что и против значения самого Грановского спорят *некоторые;* но кто же эти некоторые? г. В. Григорьев, покойная «Молва» да г. И. Л., недавно раскритиковавший Станкевича в одном из лучших наших журналов!..{16}

Мы пропускаем здесь влияние Станкевича на Красова и на Клюшникова, которые хотя и не были первоклассными художниками, но все же не могут быть названы бездарными. Напротив, у них очень нередко выражалась в звучных стихах живая мысль и искреннее, теплое чувство. Но мы не станем говорить об этом влиянии, чтобы несколько долее остановиться на отношениях Станкевича к Белинскому. Их не нужно искать в письмах к самому Белинскому, которых в издании г. Анненкова напечатано всего два; о них можно судить по всей переписке Станкевича. Мы не скажем, что Белинский *заимствовал* свои мнения до 1840 года у Станкевича: это было бы слишком много. Но несомненно, что Станкевич деятельно участвовал в выработке тех суждений и взглядов, которые потом так ярко и благотворно выразились в критике Белинского. Мы не станем следить здесь за развитием общих философских положений, обсуждавшихся в кружке Станкевича и сделавшихся потом надолго благотворным источником критики Белинского. Здесь можно было бы найти много данных для определения значения Станкевича в кругу его друзей; но мы уклоняемся от рассмотрения этого вопроса – отчасти потому, что оно завлекло бы нас очень далеко, а главным образом потому, что это дело изложено уже гораздо подробнее и лучше, нежели как мы могли бы это сделать, в одной из статей о критике гоголевского периода литературы, помещавшихся в «Современнике» 1856 года{17}. Мы обратим здесь внимание на явления более частные, касающиеся преимущественно тогдашних

литературных явлений. В этом случае замечательно, что в письмах Станкевича встречаются большею частию *раньше* общие заметки и мнения, которые потом, после небольшого промежутка времени, являются уже основательно и подробно развитыми в статьях Белинского. Видно, что Белинский был наиболее энергическим представителем этого кружка; а может быть, он имел и более материальной надобности высказывать в печати убеждения, выработанные им в обществе друзей, которые менялись своими идеями только между собою. Во всяком случае, очевидно, что при образовании литературных взглядов и суждений в кружке друзей своих Станкевич никогда не был лицом пассивным и даже имел некоторое влияние. Степени и подробностей этого влияния, конечно, нельзя определить тому, кто не был сам в кружке Станкевича; но что влияние было – свидетельствуют многие черты, сохранившиеся в переписке. Так, еще в 1833 году Станкевич высказывает в письмах свои мысли о театре и театральном искусстве, развитые потом Белинским на нескольких страницах «Литературных мечтаний», напечатанных в «Молве» 1834 года{18}. В том же году Станкевич высказывает свое мнение об игре Мочалова и Каратыгина, и оно же выражается в статьях Белинского, в «Молве» 1835 года и даже позже, в «Наблюдателе»{19}.

Во всех письмах Станкевича начиная с 1834 года постоянно выражается особенное увлечение Гофманом; с тем же характером является это увлечение и у Белинского, особенно в статье о детских книгах в «Отечественных записках» 1840 года, № 3{20}, Тотчас по выходе первого № «Библиотеки для чтения», – Станкевич писал (15 января 1834 года) к Я. М. Неверову:

> Ты, верно, читал кое-что из № 1 «Библиотеки для чтения». Боже мой! что это? Так как это журнал литературный, то, прочитав безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского, я, чтобы видеть направление его, взглянул в отделение критики. Кажется, это подвигается Сенковский. Он спрашивает, например, должно ли исторической драме нарушать свидетельства истории? Воображение действует, следовательно, история должна быть нарушена. Какая польза от истории? История полезна одним только: она представляет пример характеров для подражания! А что толкуют о Кукольнике – беда! Великий Байрон, великий Кукольник! Если К. не так слаб душою, чтобы не обольститься лестью, то он должен негодовать; если он доволен – пропал поэтический талант, который я в нем

допускал (стр. 83).

Не правда ли, что все эти мысли хорошо знакомы нам по критикам последующего времени? Даже фраза «великий Байрон, великий Кукольник!» неоднократно повторялась потом, в насмешку над слишком решительным критиком![21] Но будем продолжать начатый параллель мнений Станкевича и Белинского.

В конце 1834 года Станкевич пишет о Тимофееве, что он не считает этого автора поэтом и даже вкуса не подозревает в нем после «мистерии», помещенной в «Библиотеке для чтения»[22]. В 1835 году Белинский, с своей обычной неумолимостью, высказал то же в «Молве», и вскоре потом Станкевич оправдывает критика, говоря в письме к Неверову: «Мне кажется, что Белинский вовсе не был строг к Тимофееву, хотя иногда, по раздражительности характера, он бывает чересчур бранчив»[23].

В марте 1835 года Станкевич писал о Гоголе: «Прочел одну повесть из Гоголева «Миргород», – это прелесть! («Старомодные помещики» – так, кажется, она названа.) Прочти! как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни!» Именно на этой мысли основан разбор «Старосветских помещиков», помещенный Белинским в статье его «О русской повести и повестях г. Гоголя» в 7 и 8 (июньских) №№ «Телескопа».

В апреле 1835 года Станкевич извещает Неверова: «Надеждин, отъезжая за границу, отдает *нам* «Телескоп». *Постараемся* из него сделать полезный журнал, хотя для иногородных, – прибавляет он. – По крайней мере будет отпор «Библиотеке» и странным критикам Шевырева. Как он мелочен стал!» (стр. 133).

В начале июня Станкевич уведомляет своего приятеля, что «Телескоп» уже передан Белинскому[24]. «Я, – прибавляет он, – тратить времени на «Телескоп» не стану, но в каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые я могу заняться. Кроме того, мы всегда будем обществом *совещаться* о журнале». Тут же говорится, что «Наблюдатель» плох и что Шевырев обманул ожидания Станкевича и его друзей – и оказался педантом[25]. Из этого видно, какое близкое, душевное участие принимал Станкевич в издании «Телескопа» Белинским, и нет сомнения, что он в самом деле много помогал ему своими советами. По крайней мере на мнения его о Шевыреве в «Московском наблюдателе» последовал отголосок в 9-й же книжке «Телескопа», то есть через два месяца[26], а в 5-й книжке следующего года помещена была специальная статья Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»«, где много досталось ученому профессору

Шевыреву.

В ноябре 1835 года писал Станкевич, что Бенедиктов не поэт, а фразер: «Что стих, то фигура, ходули беспрестанные. Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных, – но души нет». Вслед за тем (в 11-й книжке «Телескопа») явилась статья Белинского о стихотворениях Бенедиктова, великолепно развивавшая то же самое мнение, которого критик наш до конца держался. По поводу этой статьи приятель Станкевича сообщил ему слухи о том, будто бы удары, наносимые рукою Белинского, направляемы были Станкевичем, и последний отвечал на это с обычной своей искренностью: «Не знаю, откуда эти чудные слухи заходят в Питер? Я – ценсор Белинского? Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Телескопе»[{27}], подвергал ценсорству Белинского, в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам. Конечно, его выходка неосторожна, но не более; он хотел напасть на способ составлять репутацию и оскорбил человеческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу»[{28}].

В 1837 году Станкевич уехал за границу, и литературные суждения в его письмах попадаются реже. Поэтому и мы здесь остановимся. Сделаем только еще выписку из одного письма Станкевича, заключающую в себе его мнение о народности. Вот что говорит он:

> Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя – можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит – хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее, человеческое, и смотрите, что он способен принять, чего не достает ему? Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом никуда не годится (стр. 220).

Это самое мнение, с удивительной близостью даже к способу изложения, подробно и энергически развил Белинский в статьях своих о Руси до Петра, в «Отечественных записках» 1841 года[{29}], т. е. с лишком через три года после письма Станкевича.

Мы не перебирали всех статей Белинского и всех мнений, в которых он сходился с своим другом. Мы называли только те статьи, которые мы могли припомнить и которые относятся к частным явлениям литературы. Но сходство частных суждений,

по нашему мнению, еще ярче рисует связь, существующую между людьми, нежели согласие в общих истинах. Поэтому мы полагаем, что и представленных фактов довольно уже для того, чтобы отнять у всякого право сказать: между Белинским и Станкевичем не было взаимной зависимости друг от друга! Чтобы говорить это, надобно не знать деятельности Белинского до 1840 года, т. е. до смерти Станкевича.

Таким образом, кроме своей прекрасной, благородной личности, столь привлекательной в самой себе, Станкевич имеет еще и иные права на общественное значение, как деятельный участник в развитии людей, которыми никогда не перестанет дорожить русская литература и русское общество. Имя его связано с началом поэтической деятельности Кольцова, с историей развития Грановского и Белинского: этого уже довольно для приобретения нашего уважения и признательной памяти.

В заключение нашей статьи мы просим у читателей извинения в том, что наши заметки приняли форму несколько полемическую. Трудно удержаться от этой формы, говоря о личности, подобной Станкевичу, в виду тех понятий, какие обнаруживаются столь многими в нашем обществе. У нас еще недостаточно развито уважение к нравственному достоинству отдельных личностей; у нас еще нередко можно слышать такое рассуждение: «Он мне ничего худого не сделал; могу ли я назвать его негодяем?» Или такое: «Что мне уважать его? мне от него ни тепло, ни холодно!» Понятно, что люди с такими понятиями (а этаких людей немало) и удивлены и раздражены тем, что им смеют говорить об общественном значении человека, который не только пирамиды не выстроил, Америки не открыл, пороху не выдумал, но даже ни одного благотворительного бала не сделал, даже ни одной толстой книги не сочинил. Поневоле приходится говорить о достоинствах человека, защищая его от близоруких и нелепых обвинений. Такой способ изложения для нас самих очень неприятен и невыгоден – вот в каком отношении. Мы хотим удержать человека на той высоте, на которой стоит он и с которой мелочная утилитарность хочет стащить его в какую-то темную канаву, а нам кричат: «Вы его поднимаете на пьедестал, вы его хотите до облаков вознести! За что это? Какие его положительные заслуги?» и пр. И выходит, как будто мы, в самом деле, ставим на пьедестал человека, особенно когда утилитарные враги начинают утверждать, что они этого человека не трогали и в канаву не тащили…

Но мы еще раз готовы повторить то, что уже сказали в начале статьи. Преувеличенные похвалы Станкевичу, нам самим кажутся излишними и несправедливыми; сравнивать его с Сократом, идеи

которого разнесены по свету несколькими Платонами, нам никогда не приходило в голову. Да, сколько мы знаем, и никто из его друзей и приверженцев не делал подобных сравнений. Но, с другой стороны, мы считаем крайне несправедливым и то отрицание, с которым многие относятся к этой прекрасной, возвышенной личности. Говорят, что жизнь Станкевича прошла бесплодно, что он даром растратил свои силы и не должен иметь места в наших воспоминаниях; говорить это – значит обнаружить полное неуважение к развитию индивидуальности человека и выразить претензию на абстрактное самоотречение, которое, в сущности, есть не что иное, как обезличение. Кто признает права личности и принимает важность естественного, живого, свободного ее развития, тот поймет и значение Станкевича, как в самом себе, так и для общества. Мы, с своей стороны, прибавим здесь одно: если бы во всяком обществе большинство состояло из людей, подобных Станкевичу, то не было бы никакой необходимости ни в этой пресловутой борьбе, ни в муках и страданиях, на которые так любят вызывать всех порядочных людей люди слишком утилитарные.

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БдЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г, – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.,* 1858, № 4, отд. II, с. 145–166, за подписью «–бов», с несколькими значительными цензурными купюрами, восстановленными в изд. 1862 г.

Статья явилась ответом на выступление публициста И. И. Льховского, который в рецензии на изданную П. В. Анненковым переписку и биографию Н. В. Станкевича (*БдЧ,* 1858, № 3) отрицал его общественное значение на том основании, что, занимаясь наукой и искусством ради своего удовольствия, Станкевич не боролся, не страдал и не оставил никаких материальных следов своей деятельности. Отвергая подобную «мелочную утилитарность», измеряющую ценность человеческой личности исключительно количеством «пользы», которую она принесла, Добролюбов утверждает самостоятельную значимость всякой честно прожитой жизни. Вместе с тем в противовес господствующему (и получающему опору в религии) взгляду,

фактически противопоставлявшему нравственность – человеческой природе, а общественное благо – личному, он выдвигает идею «разумного» эгоизма, связывавшего нравственность со здоровыми потребностями и интересами человека. Тем самым из внешнего, противостоящего человеку закона она превращается во внутренний. Этим Добролюбов, с одной стороны, поднимает значение личности, делает ее представительницей общественных интересов, а с другой – неизмеримо повышает требования к ней самой, поскольку ждет от нее, вместо формального выполнения предписаний морали, той высоты развития, на которой нравственность становится инстинктом, а общественные интересы – личными.

Таким образом, развивая тему защиты личности, начатую в статье «О значении авторитета в воспитании», Добролюбов по существу формулирует здесь основные положения демократической этики, материалистической по своим философским основам. Этот комплекс идей, получивший название «теории разумного эгоизма», впоследствии получил обобщенную форму в работе Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (1860)» и художественное воплощение в его романе «Что делать?» (1862–1863).

notes

Сноски

1

Видимость (*нем.*). – *Ред.*

Существу (*нем.*). – *Ред.*

Комментарии

1

На титульном листе книги – 1857 г.

2

Неточная цитата из статьи Белинского «О жизни и сочинениях Кольцова» (Белинский, IX, 508).

3

PB, 1857, февраль, кн. 1 и 2; апрель, кн. 1.

4

Анненков опубликовал менее половины эпистолярного наследия Н. В. Станкевича. Наиболее полным изданием является «Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840» (ред. и изд. А. Станкевич. М., 1914). Здесь же восстановлены пропуски, сокращения и исправлены неточности издания Анненкова.

5

Имеется в виду статья товарища Т, Н. Грановского по петербургскому университету В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» (*РБ,* 1856, № 3, 4), в которой ставилось под сомнение значение Грановского как ученого. Статья вызвала горячую полемику, в которой приняли участив Н. Ф. Павлов, К. Д. Кавелин, К. С. Аксаков, Е. Ф. Корш и др. А. И. Герцен возмущенно отозвался об этой статье в «Колоколе» («Лобное место» – 1857, сентябрь) и в письмах (библиографические сведения о полемике см. в кн.: Грановский Тимофей Николаевич. Библиография. 1828–1967. М., 1969, № 793).

6

Из членов кружка Н. В. Станкевича *известными своей деятельностью* стали: В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский, С. М. Строев, О. М. Бодянский, К. С. Аксаков, В. П. Боткин, М. Н. Катков.

Далее Добролюбов излагает аргументацию И. И. Льховского.

8

Добролюбов цитирует слова И. И. Мартынова, приведенные Е. Я. Колбасиным в статье о нем (*Совр.,* 1856, № 3, отд. II, с. 35). В 1803–1817 гг. Мартынов был директором департамента Министерства народного просвещения. Он является автором первого в России цензурного устава 1804 г., отразившего либеральные веяния начала царствования Александра I.

9

Добролюбов имеет в виду оценку творчества этих писателей Белинским.

10

Речь идет о рассказе Тургенева «Фауст» (*Совр.,* 1856, № 10).

11

Из письма Я. М. Неверову от 18 апреля 1834 г. (рецензируемое издание, с. 89).

12

Из письма Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 г. (рецензируемое издание, с. 193–194).

13

Семья М. А. Бакунина, проживавшая в имении Премухино Тверской губернии, состояла из его родителей, пяти братьев и четырех сестер. Дружба членов семейства, их образованность, атмосфера интеллектуальных интересов – делали его привлекательным для молодых друзей Бакунина; некоторых ив них, в том числе Белинского, Станкевича, Боткина, связывали с семьей Бакуниных сердечные привязанности.

14

См. об этом в статье «А. В. Кольцов» (наст. т., с. 223–226).

15

Добролюбов цитирует письмо Т. Н. Грановского Я. М. Неверову от 8 августа 1840 г., отрывок из которого приведен в издании Анненкова (с. 234; полностью опубл. в кн.: Т. Н. Грановский и его переписка, т. 2. М., 1897, с. 404).

16

В славянофильском еженедельнике «Молва», прекратившем свое существование в декабре 1857 г., была напечатана статья П. С. Савельева «Фельетонист-ориенталист» (1857, № 4, 10, 11), в которой он защищал В. В. Григорьева от нападок критики, вызванных его статьей «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» (см. примеч. 5). *И. Л.* – И. И. Льховский.

17

Добролюбов имеет в виду статью шестую из цикла «Очерки гоголевского периода русской литературы» (*Совр.*, 1856, № 9, отд. III) Чернышевского.

18

Видимо, речь идет о письме Я. М. Неверову от 20 мая 1833 г. (рецензируемое издание, с. 27). Ср.: Белинский, I, 78–81.

19

Ср. письма Станкевича Неверову от 2, 18, 20 мая и 17 декабря 1833 г. (рецензируемое издание, с. 10, 14, 25–27, 78) со статьями Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (Белинский, I, 179–180) и «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (Белинский, II, 253–345).

20

Имеется в виду статья «О детских книгах. Подарок на Новый год. Две сказки Гофмана, для больших и маленьких. Детские сказки дедушки Иринея» (Белинский, IV, 68–109).

21

В статье, посвященной драме Н. В. Кукольника «Торквато Тассо», О. И. Сенковский, в частности, писал: «Я также громко восклицаю «великий Кукольник!»… как восклицаю «великий Байрон!» (*БдЧ,* 1834, № 1, отд. V, с. 37). В насмешку над Сенковским эти слова не раз приводил Белинский (см., напр.: Белинский, I, 21).

Станкевич имел в виду «мистерию» А. В. Тимофеева «Жизнь и смерть» (*БдЧ,* 1834, № 8).

23

В цитируемом письме к Неверову (от 28 сентября 1835 г. – рецензируемое издание, с. 113–114) Станкевич оправдывает критический отзыв Белинского о произведении А. В. Тимофеева «Художник» (Белинский, I, 211–214).

24

Белинский редактировал журнал «Телескоп» с августа по декабрь 1835 г. в связи с поездкой редактора Н. И. Надеждина; за границу.

25

«Наблюдатель» – журн. «Московский наблюдатель», в котором С. П. Шевырев в 1835–1837 гг. (до прихода Белинского) играл роль главного критика. В 1842 г. Белинский посвятил Шевыреву статью под названием «Педант» (Белинский, VI, 68–75).

26

Имеется в виду заметка Белинского «Просодическая реформа» (Белинский, I, 328), в которой он иронизирует над стремлением Шевырева реформировать русское стихосложение введением итальянской октавы.

В «Телескопе» были опубликованы в переводе Станкевича статья Ф. Минье «Лютер на Вормсском сейме» (1835, ч. 26) и «Опыт о философии Гегеля» Вильма (1835, ч. 28).

28

Из письма Я. М. Неверову от 19 октября 1836 г. (рецензируемое издание, с. 200–201).

29

Речь идет о статье «Россия до Петра Великого» (Белинский, V, 91–152).